

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ В СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЕ 1920–1930-х гг.: СИМВОЛИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, РИТУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ И ПРАКТИКИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ

Л. А. Грицай

*Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского,
г. Ярославль, Российская Федерация*

В статье рассматривается многоплановый процесс трансформации представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг., связанный с формированием новых символических моделей, светских ритуалов и устойчивых практик коллективной памяти, возникших на пересечении идеологического атеизма, внецерковных представлений о человеческой природе, позитивистских ориентаций и мифопоэтических структур массового сознания. Благодаря анализу научных трудов, посвященных некрологическому дискурсу, мемориальной политике и механизмам сакрализации революционной жертвы, выявляются ключевые элементы советской танатологической парадигмы, в рамках которой смерть трактовалась как социально значимый акт, открывающий возможность символического бессмертия через включение в пантеон героев и воспроизводство их образов в публичных пространствах, при этом особое внимание уделено взаимосвязи между политической ритуалистикой, визуальными репрезентациями и институциональными нормами, которые формировали нормативные модели переживания смертности. Полученные результаты позволяют уточнить культурно-антропологические основания советского проекта бессмертия и показать, что раннесоветская культура организовывала взаимодействие живых и мертвых как элемент исторического движения к утопическому будущему. Обобщение представленных данных создает основу для дальнейшего изучения механизмов трансформации смерти в условиях идеологически ориентированных культурных систем.

Ключевые слова: смерть, бессмертие, советская культура, танатология, ритуал, память.

Введение

Актуальность исследования определяется тем, что тема смерти и бессмертия является универсальной для любой культурной традиции, однако именно в советской культуре она приобрела новое звучание, связанное с радикальным отказом от религиозной трактовки смертности, провозглашением атеизма и формированием особой системы светских смыслов, в которой смерть рассматривалась как социальный акт и элемент коллективной памяти.

Целью работы является выявление структурных особенностей советских представлений о смерти и бессмертии, а также анализ тех символических моделей, ритуальных форм и коммеморативных практик, которые определяли культурное содержание данного феномена.

Задачи исследования включают в себя рассмотрение научных подходов к изучению танатологических сюжетов, реконструкцию основных элементов официальной мемориальной политики и анализ процессов сакрализации революционной жертвы; объектом исследования является советская культура 1920–1930-х гг., предметом выступают представления о смерти и бессмертии в их символических и практических проявлениях; терминологический аппарат опирается на культурологическое понимание символа, ритуала и памяти как категорий, фиксирующих способы коллектив-

ного осмысления пограничных состояний человеческого существования.

Обзор литературы

В раннесоветской историографии проблема трансформации представлений о смерти и бессмертии трактуется как результат сложного пересечения идеологических, социальных и интеллектуальных факторов, и, следовательно, в научных работах последних десятилетий исследователи выделяют несколько взаимосвязанных аналитических пластов, каждый из которых претендует на объяснение тех смыслов, которые придавались смерти в 1920–1930-е гг. Так, С. Ю. Малышева анализирует формирование раннесоветского «некросимволизма» как феномена, в котором сосуществовали пафос культа павших и прагматическая утилитаризация смерти, что позволило авторам говорить о специфической танатологичности советской культуры первых десятилетий XX века [1, с. 22–47], тогда как С. А. Еремеева делает акцент на и ритуальном измерении этой трансформации, показывая, что некрополи в центрах столицы и ритуалы массового почитания павших стали материализованными формами «советского пути в бессмертие», порожденными потребностью новой власти легитимировать себя через памятование о жертвах революции и гражданской войны [2, с. 23–34].

Второй аналитический пласт связан с влиянием интеллектуальных течений и философско-науч-

ных идеологом, и в связи с этим примечательно замечание Ж. Бодрийяра о том, что революционная мысль «колебалась между диалектизацией смерти как негативности и рационалистической задачей отменить смерть», что в советском контексте выразилось в одновременном культивировании ожиданий научного преодоления тленности и в разработке ритуалов, придававших смерти функцию политической символики [3, с. 268], а М. Хагемайстер и К. Мерридейл указывают на то, что элементы космистских и позитивистских представлений о возможности технического или научного восстановления жизни циркулировали в культурной среде 1920-х гг. в сильно вульгаризованном виде и выступали скорее как культурно-психологический ресурс, нежели как систематическая философская программа, способная сформировать официальную политику [4, 5].

Третий пласт интерпретаций касается семиотики и риторики смерти, и в этой плоскости Х. Гюнтер и С. Ю. Малышева обращают внимание на роль культа молодости и агиографизации пионерской и революционной героики как ключевого механизма символического бессмертия, то есть бессмертия, понимаемого не как метафизическая жизнь после смерти, а как долговременная интеграция личности в систему коллективной памяти, в которую входят митологизация подвигов, визуализация тел покойных и институционализация памятных мест (мавзолея, стен коммунаров, братских могил) [6, с. 743–784; 1, с. 23]; в рамках этой линии исследования показывают, что бессмертие становилось технологией политической коммуникации, обеспечивавшей преемственность революционного нарратива и легитимацию власти через ритуалы канонизации умерших.

Четвертый аспект, на который указывают ученые, касается прагматической стороны обращения с телом и изменения традиций похорон, и здесь исследователи полагают, что раннесоветские попытки десакрализировать тело (продвижение кремации, пропаганда «рационального» использования могильных пространств) часто были инструментом социального управления, а не результатом чисто идеологического желания разорвать связь с религией [1, с. 30–40].

Пятый блок аналитических наблюдений связан с трансформацией оценки суицида и сдвигом в нормативной семантике смерти: так, В. С. Тяжельникова демонстрирует процесс медиализации и последующей стигматизации самоубийств в 1920-е гг., что отражало не только изменения в научном дискурсе о психическом здоровье, но и политическую потребность партии понимать мотивацию людей, кончающих жизнь самоубийством, переводя этот феномен из разряда потенциального политического акта в разряд девиации или психического расстройства [7, с. 158–173].

Наконец, работы, в которых соотносятся разные уровни анализа, показывают, что советский проект бессмертия выстраивался на пересечении позитивистских ожиданий научного прогресса и потребности в символической сакрализации политического прошлого, и в этом плане В. Юровский, сопоставляя стилистику и функции некрологов в разные периоды советской истории, отмечает их эволюцию от агитационно-мифологической функции в 1917–1920-е гг. к растущей ритуализации и формализации в сталинский период, а затем к бюрократическому обезличиванию позднесоветского некрологического дискурса, что служит важным индикатором того, как изменялись и представления о допустимых формах смерти и о способах достижения бессмертия через память, и институциональные практики [8, с. 127–190].

Таким образом, объединяя позиции данных исследователей, можно констатировать, что в совокупности их работ смерть в советской культуре 1920–1930-х гг. предстает одновременно и как объект прагматической регламентации, и как символический ресурс власти, а бессмертие – как социально и политически конструируемая перспектива продолжения значимости личности в коллективной памяти.

Методы исследования

Методологическую основу составляют культурно-исторический и сравнительно-аналитический методы, позволяющие рассматривать смерть как культурно обусловленный феномен и сопоставлять различные формы ее репрезентации в контексте идеологических, социальных и художественных практик: применение структурно-семиотического метода обосновано необходимостью выявить устойчивые символические модели, закрепленные в советском дискурсе, а обращение к методам исторической антропологии позволяет реконструировать повседневные формы взаимодействия общества с опытом утраты.

Результаты и дискуссия

Рассматривая трансформацию представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг., необходимо исходить из принципиального положения о том, что отношение к смерти в раннем СССР подверглось значительным изменениям, вызванным не только политическими и социальными преобразованиями, но и радикальной попыткой построения нового порядка, который стремился охватить все сферы человеческого существования, включая сферу смертности и сферы, сопряженные с восприятием пределов человеческой жизни.

В этом отношении раннесоветская культура демонстрирует сложное переплетение просветительского, позитивистского и революционно-мифологического начал, на основе которых возник специфический дискурс, совмещающий рационалистические ожидания научной победы над смер-

тью и одновременно сакрализацию героической гибели как высшего проявления служения коллективу и будущему социалистическому обществу. Именно эта двойственность, сформировавшаяся в рамках советской идеологии, задает ключевую рамку анализа, позволяя выявить внутренние механизмы формирования символических моделей смерти, новых ритуальных форм и практик коллективной памяти, которые в совокупности создавали уникальную и ранее не существовавшую в русской культуре конструкцию отношения к человеческой смертности.

Указанные трансформации представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг. не могут быть поняты вне контекста интенсивного научного и мировоззренческого оптимизма первых послереволюционных десятилетий, в рамках которого наука осмыслялась как универсальный инструмент преобразования бытия, способный не только реорганизовать социальные структуры, но и поставить под вопрос фундаментальные пределы человеческого существования, включая конечность жизни. Данный тип сознания формировался не на пустом месте, а опирался на интеллектуальную традицию русского космизма конца XIX – начала XX в., представленного Н. Ф. Федоровым, К. Э. Циолковским и их последователями, для которых смерть трактовалась как исторически преодолимое зло, а человечество мыслилось как активный субъект космической эволюции. Федоровская идея «общего дела», предполагающая реальное физическое воскрешение умерших поколений средствами науки, создавала особую философскую атмосферу, в которой имморталистские проекты начала 1920-х гг. получали теоретическую легитимацию, соединяя материализм, технологический прогресс и эсхатологическую перспективу [9, с. 36].

Именно на этой почве формируется биокосмизм, наиболее радикальный вариант имморталистского проекта, связанный с именем А. Ф. Агенико, выступавшего под псевдонимом Святогор. В программной статье «Биокосмизм» 1921 г. он провозглашал наступление новой исторической фазы: «Вся предшествующая история... это эпоха смерти и мелких дел. Мы же начинаем великую эру бессмертия и бесконечности» [10, с. 214]. В «Биокосмической поэтике» утверждалось, что «теперь же на повестку дня необходимо во всей полноте поставить вопрос о реализации личного бессмертия», а сама смерть рассматривалась как временное «равновесие натурального порядка», подлежащее разрушению через мобилизацию новых сил [10, с. 218], таким образом, биокосмисты настаивали на возможности «воскрешения мертвых» как восстановления личности «во всей полноте ее духовных и физических сил», подчеркивая при этом антирелигиозный характер своего проекта и объявляя «войну» мистике [10, с. 215].

Данный дискурс не оставался исключительно маргинальным явлением литературно-философской среды, но коррелировал с более широкими научными поисками 1920–1930-х гг., направленными на изучение механизмов старения и разработку методов биологического омоложения. Как отмечает Р. А. Фандо, исследования в области поиска биологически активных веществ, способных воздействовать на процессы старения, получали институциональную поддержку, поскольку научное сообщество исходило из представления о старении как о поддающемся регулированию процессе [11, с. 84], тем самым идея преодоления смерти приобретала квазинаучную легитимность и включалась в пространство государственной идеологии.

Характерным симптомом глубокой укорененности представлений о возможности научного вмешательства в пределы жизни и смерти становится дело В. Ф. Войно-Ясенецкого, известного как святитель Лука. В начале 1930-х гг. следственные органы использовали эпизод, связанный с профессором Михайловским, потерявшим рассудок после смерти сына и предпринявшим попытку оживления ребенка посредством переливания крови, как повод для обвинения Войно-Ясенецкого в противодействии «научному» подходу к восстановлению жизни. Подписав разрешение на церковное погребение по просьбе вдовы, он оказался вовлечен в интерпретацию, согласно которой религиозная позиция препятствовала гипотетическому научному воскрешению. Сам факт подобной логики обвинения свидетельствует о том, что идея преодоления смерти средствами науки воспринималась не как фантазия, а как потенциально реализуемая возможность, вписанная в культурное воображение эпохи [12].

Наряду с радикальными имморталистскими моделями формировалась и иная символическая конструкция, в рамках которой биологическая смерть признавалась неизбежной, но преодолевалась через коллективную память и продолжение дела умершего. Кульминацией данного осмысления стала поэма В. В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» 1924 г., где утверждается: «Ленин и теперь живет всех живых», а сама смерть трактуется как «величайший коммунист-организатор» [13]. Бессмертие здесь переносится в плоскость исторического действия, воплощенного в партии как носителе коллективной воли и гаранте преемственности революционного проекта.

Экстренные выпуски «Правды» 22–29 января 1924 г., репортажи «Известий» фиксируют сакрализацию образа Ленина и утверждают формулу продолжения его дела, которая становится нормативной моделью интерпретации смерти [14, 15].

Показательно, что аналогичная формула воспроизводится и в некрологах, посвященных рядовым членам партии: «Тебя уже нет, но мы... довершим начатое вместе с тобой дело» (Правда,

28 июля 1924) [14]; «Его дело живет в нас» (Правда, 5 июля 1923) [14]; «Коллективной волей возместим потерю героя» (Правда, 15 июля 1931) [14]. Даже частные извещения о смерти членов ВКП(б), сопровождаемые указанием на «гражданские похороны» (Правда, 18 августа 1930) [14], включались в общую риторику коллективного продолжения и символического бессмертия. Таким образом, смерть становилась моментом мобилизации и подтверждения солидарности, а индивидуальная утрата интегрировалась в коллективный миф.

Одновременно с этим формировалась новая модель гражданских похорон, вытеснявшая церковный обряд и утверждавшая светскую сакральность революционного подвига: репортажи «Известий» о «красных похоронах» 1920-х гг. фиксируют стандартизацию ритуала, включавшего траурные митинги, партийные речи, клятвы продолжить борьбу. Смерть за революцию героизировалась и представлялась высшей формой служения, что подтверждается политическими некрологами в «Правде» 1930-х гг., где подчеркивалось, что «бессмертие – в социалистическом строительстве» (Правда, 3 ноября 1932) [14, 15].

Сами новые гражданские похороны выступали не просто как альтернатива церковному отпеванию, но как сложный символический механизм героизации смерти и включения индивидуального ухода из жизни в пространство коллективного мифа, а сам акт умирания наполнялся политическим и педагогическим смыслом. Как подчеркивал Л. Д. Троцкий, новая власть нуждалась в создании собственных ритуалов, способных заменить религиозные формы и одновременно дисциплинировать и мобилизовать массы, формируя у них «правильное» отношение к жизни и смерти [16, с. 92].

Судя по публикациям центральной и местной прессы 1920-х гг., а также по воспоминаниям современников, гражданские похороны представляли собой тщательно инсценированное действо, в котором сочетались элементы траурной церемонии, политического митинга и коллективного воспитательного акта. Газеты регулярно подчеркивали принципиальный отказ от священника, отпевания, заунывного пения и поминальной трапезы, заменяя их революционной символикой, оркестровой музыкой и публичными речами товарищей умершего, где его биография интерпретировалась через призму революционного подвига. В одном из фольклорных текстов, зафиксированных в 1920-е гг., эта трансформация формулировалась предельно наглядно, что свидетельствует о признании (газета «Смена», 22 апреля 1923) [17].

Практика гражданских похорон включала в себя торжественное шествие на кладбище, где впереди шли музыканты, за ними комсомольцы несли красный гроб, а процессия сопровождалась

революционными песнями, ружейными залпами и развернутыми красными флагами, что подробно описывалось в региональной прессе как образцовый сценарий «красных похорон» [18, с. 96]. Над могилой произносились речи, подчеркивающие, что смерть умершего не является концом, поскольку его жизнь продолжается в общем деле партии и в памяти коллектива, а поминки приобретали характер шумного и одновременно праздничного собрания, где траур сочетался с утверждением победы революции над частной утратой.

Важным элементом новой погребальной культуры становится кремация, активно продвигавшаяся как рациональный, гигиеничный и антирелигиозный способ обращения с телом умершего. Открытие Первого московского Донского крематория 12 января 1927 г., начавшееся с кремации рабочего мытищинской водокачки Ф. Соловьева, широко освещалось в прессе и рассматривалось как символ разрыва с православной традицией [19, с. 7]. В изданиях 1920-х гг. подчеркивалось, что кремировать себя завещали не только «старые большевики», но и рядовые граждане, сознательно выбирающие новый, советский способ погребения [19]. Показательны здесь и дневниковые записи К. И. Чуковского, посетившего крематорий в 1921 г., где он с шокирующей откровенностью фиксирует отсутствие сакральности, демонстративную «оголенность» процесса и циничный тон наблюдателей, обсуждающих физиологию горения трупа [20]. Подобная десакрализация смерти усиливалась и в журнальных очерках, например, в статье Д. Маллори «Огненные похороны», где процесс сжигания описывается в предельно натуралистических деталях, превращая смерть в объект научного и технического наблюдения [21].

Героизация смерти за революцию находила выражение и в особых издательских практиках, включая выпуск сборников некрологов, таких как «Вместо венка на могилу павших» (1922), где гибель участников революционных событий интерпретировалась как жертва, освящающая новый порядок. Некрологи в подобных изданиях подчеркивали не частную трагедию, а вклад умершего в коллективную борьбу, тем самым закрепляя модель символического бессмертия через память и пример [22].

Эта же логика отчетливо проявляется в художественной литературе 1920–1930-х гг., где смерть все чаще осмысливается как элемент коллективного мифа. В стихотворении Э. Багрицкого «Смерть пионерки» (1932) умирающая девочка отказывается от религиозного символа и отдает честь пионерскому коллективу, а ее смерть сакрализируется через мотив вечного присутствия в памяти товарищей, что отражает принципиально новое понимание бессмертия, которое мыслится не в религиозной, а в социально-коллективной форме, как жизнь в памяти потомков и как продолжение су-

ществования через участие в общем историческом деле. Здесь смерть становится одновременно трагедией и средством конструирования коллективной памяти, то есть событием, уходящим из индивидуальной сферы в сферу коллективно значимого опыта [23].

Сходным образом, но в более сложной и противоречивой форме тема смерти и бессмертия разрабатывается в рассказе А. П. Платонова «Бессмертие» (1936), где смерть предстает не как единичный акт прекращения жизни, а как состояние «мертвения», связанное с утратой смысла, отчуждением и остановкой труда. В платоновском тексте бессмертие мыслится как коллективный процесс, достигаемый через честную работу, взаимную поддержку и включенность в общее дело, тогда как смерть становится угрозой, возникающей там, где человек выпадает из этого процесса [24].

Таким образом, в советской культуре 1920–1930-х гг. сосуществовали и взаимодействовали две основные символические модели: радикальный иммортализм, стремившийся к физическому преодолению смерти средствами науки, и социально ориентированная концепция бессмертия через память и дело, а также их промежуточные варианты: героическая смерть как акт жертвы ради будущего, материализация бессмертия в теле вождя и др. Их сопряжение создавало напряженное поле, в котором смерть одновременно объявлялась злом старого мира и сакрализировалась как высшая форма участия в строительстве нового общества, что и определило специфику ритуальных форм и практик коллективной памяти данного периода (табл. 1).

Таблица 1
Символические модели смерти и бессмертия в советской
культуре 1920–1930-х гг.

Table 1
Symbolic models of death and immortality in Soviet culture
of the 1920s and 1930s

Символическая модель	Краткое содержание
Героическая смерть как акт жертвы ради будущего	Смерть революционера трактуется как высшая форма служения коллективу, что создает основу для формирования канона «достойной» смерти
Бессмертие через социальную значимость	Бессмертие понимается как сохранение имени, деяний и образа героя в официальных нарративах, визуальных репрезентациях и воспитательных практиках
Революционная утопия как преодоление смертности	Смерть осмысливается как временное препятствие на пути к идеальному будущему, в котором человечество достигнет гармонии и коллективного бессмертия
Материализация бессмертия в теле вождя	Сохранение тела Ленина превращается в символ вечности революции, где телесная форма бессмертия служит центром сакрального пространства

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что важнейшим направлением трансформации представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг. стало радикальное переосмысление ритуальных и визуальных практик, в рамках которого смерть фиксировалась как социально значимое событие, подлежащее идеологической интерпретации и включению в механизмы коллективной памяти, что подтверждается как нормативными текстами партийных публицистов, так и материалами периодической печати, фотодокументами и художественными произведениями указанного времени.

Раннесоветская эпоха характеризуется интенсивной работой с символическим пространством, где смерть становилась инструментом героизации и политической сакрализации, что нашло отражение в массовом тиражировании посмертных образов революционных деятелей в журналах «Красная нива», «Огонек», в газете «Правда», публиковавших в 1919–1921 гг. фотографии погибших или умерших руководителей, представленных на смертном одре как фигуры исторического масштаба, тем самым визуальный ряд закреплял переход индивидуального существования в сферу коллективной истории, о чем свидетельствуют и исследования некротематики советской культуры [14, 15]. Подобная практика сопровождалась выпуском открыток с изображением В. И. Ленина и созданием архитектурной модели Мавзолея, окончательно оформленной в 1924 г., где материальная фиксация тела вождя становилась зримым воплощением идеи исторического бессмертия. Места захоронений, прежде всего братские могилы борцов революции, превращались в ритуальные центры, где проводились демонстрации и памятные мероприятия, регулярно освещавшиеся в «Известиях» и региональной прессе, что формировало новый мемориальный ландшафт, отличающийся от до-революционной поминальной традиции своей политической направленностью и включенностью в праздничный календарь.

Параллельно осуществлялась институциональная трансформация похоронного дела, включая продвижение кремации как рациональной и антирелигиозной практики, что отражено в публикациях 1920-х гг. о деятельности Донского крематория и в публицистике журнала «Безбожник», где огненное погребение интерпретировалось как гигиенически оправданный и идеологически корректный способ обращения с телом умершего [25].

Наконец, существенную роль играли ритуальные формы конструирования смерти, прежде всего партийные некрологи, публиковавшиеся в «Правде» и иных изданиях, где биография умершего выстраивалась как звено революционной судьбы, а его смерть представлялась вкладом в общее дело [14], и тем самым

формировалась устойчивая модель коллективного бессмертия, основанная на памяти, идеологической преемственности и символическом продолжении жизни в рамках социалистического проекта.

Таблица 2
Новые ритуальные формы, возникшие в советской культуре 1920–1930-х гг.

New ritual forms that emerged in Soviet culture in the 1920s and 1930s

Ритуальная форма	Характеристика
Гражданская панихида светского типа	Заменяет религиозное отпевание, включает в себя коллективные прощания, политические речи, участие партийных организаций
Публичные похороны героев и партийных лидеров	Становятся инструментом формирования политической мифологии и консолидации сообщества вокруг образов жертвенности
Возведение мемориальных архитектурных объектов	Мавзолеи, братские могилы, памятники, аллеи героев создают новую пространственную структуру сакральности
Стандартизированный политический некролог	Фиксирует статус умершего, задает образец допустимого отношения к смерти и ее интерпретации
Коллективные ритуалы памяти в школах и трудовых коллективах	Чтение биографий героев, проведение памятных дат, создание уголков боевой и трудовой славы

На фоне описанных ритуальных преобразований возникает важный вопрос о том, какое понимание бессмертия формировалось в советской культуре. В отличие от христианской традиции, советская модель бессмертия не опиралась на трансцендентные категории, она не мыслила продолжение существования в загробном мире, не возводила смерть в ранг перехода к иному духовному состоянию, вместо этого бессмертие определялось через включенность личности в пространство коллективной памяти, через проживание жизни как служения общему делу. Таким образом, бессмертие становилось не индивидуальной метафизической перспективой, а формой социальной легитимации: герой оставался живым в том смысле, в каком его образ продолжал функционировать в структуре общественного сознания. Именно это позволяет говорить о формировании специфической модели социально-символического бессмертия, в которой тело умирает, но имя и подвиг личности продолжают существование в истории, в ритуалах и в визуальных образах.

Формирование подобной модели было обусловлено не только идеологическими задачами, но и культурными процессами, происходившими в обществе. Мотив героической смерти, восходящий как к революционной мифологии начала XX в., так и к культам павших в гражданскую войну, интегрировался в советскую символику, формируя образ героя-жертвы.

Таблица 3
Практики коллективной памяти в раннесоветской культуре

Table 3
Collective memory practices in Early Soviet Culture

Практика	Содержание
Официальная канонизация героев	Создание устойчивого пантеона лиц, чьи биографии становятся основой для государственной идентичности
Музеефикация революционного прошлого	Формирование экспозиций, закрепляющих героическую интерпретацию событий, связанных со смертью
Коммеморативные практики в городском пространстве	Переименование улиц, создание мемориальных зон, внедрение символов героизма в структуру повседневности
Печатная фиксация памяти	Журналы, агитационные материалы и некрологи закрепляют нормативный образ смерти и бессмертия
Инкорпорация памяти в воспитательные и образовательные программы	Формирование идеала гражданина через обращение к фигурам павших героев, что создает непрерывность поколений

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что раннесоветская культура создала сложную систему обращения со смертью, в которой соединялись рационалистические ожидания научного прогресса, мифологические структуры революционного сознания, коллективистские модели памяти и институциональные практики, эта система обеспечивала устойчивость и транслируемость советских представлений о бессмертии, основанных на идее продолжения жизни в памяти общества и на символике героического подвига.

Рассматривая эволюцию представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг., следует отметить, что переход от периода раннего революционного энтузиазма к эпохе институциональной консолидации власти сопровождался переопределением культурных кодов, через которые осмыслялась смерть, поскольку именно в это время происходила стабилизация символических структур и формирование нормативного канона памяти. Если в первой половине 1920-х гг. доминировала установка на прорыв к «новому бытию», где смерть интерпретировалась как жертва во имя коллективного будущего, то к концу десятилетия усиливается тенденция к регламентации и бюрократическому управлению символическими ресурсами, что зафиксировано в исследованиях С. Ю. Малышевой, В. Юровского, Т. Ю. Щетковой [1, 8, 26].

Как отмечает С. Ю. Малышева, героическая смерть, составлявшая ядро раннесоветского танатологического мифа, постепенно утрачивает статус универсального образца и начинает функционировать как привилегия ограниченного круга лиц, чья биография признается государством исторически значимой, при этом культ жертвенности сохраняется, но перераспределяется в рамках офи-

циального пантеона [1, с. 108]. Таким образом, происходит переход от массовой модели героизации к вертикально организованной системе символического бессмертия, где право на память определяется институциональными механизмами.

Анализ В. Юровского показывает, что в 1930-е гг. политический некролог утрачивает прежнюю экспрессивность и превращается в стандартизированный текст, фиксирующий статус умершего и воспроизводящий нормативную модель скорби, что свидетельствует о смещении акцента с утопической риторики жертвы к формализованному языку государственной памяти [8, с. 174]. Одновременно, как подчеркивает Н. Б. Лебина, в советской культуре продолжают функционировать элементы архаического восприятия смерти, связанные с представлением о «правильном» завершении жизненного пути и сакрализованном статусе героя, что указывает на сохранение глубинных культурных стереотипов в условиях идеологической модернизации [27, с. 122].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что трансформация представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг. представляет собой многослойный и динамичный процесс, в котором пересекались различные культурные, философские и социальные дискурсы: советская культура создала собственный вариант «светской сакральности», основанный на идеях жертвенности, коллективного долга, исторического предназначения и возможности достижения социального бессмертия через включение в пантеон революционных героев. Этому способствовали появление новых ритуальных форм, отказ от религиозной обрядности, стандартизация некрологического дискурса и создание мемориальных пространств, которые формировали для граждан модель нормативного переживания смерти и памяти.

Важным оказалось сочетание рационалистических и утопических элементов: с одной стороны, смерть подлежала бюрократическому контролю, регламенту и ритуализации, с другой стороны, сохранялись идеи преодоления конечности человеческой жизни через коллективную память, через материальное бессмертие в архитектуре и культовых объектах. В результате советская культура сформировала целостный комплекс символических моделей, ритуальных форм и практик коллективной памяти, которые создавали уникальный культурный код, определявший отношение к смерти как к явлению не индивидуальному, а социально включенному в общую траекторию исторического развития.

Выводы

Проведенное исследование показало, что трансформация представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг. была связана с формированием комплексной симво-

лической системы, в которой смерть интерпретировалась как акт жертвенности и элемент социального служения, а бессмертие понималось как включенность личности в структуру исторической миссии: советская культура создала особый набор ритуальных форм, направленных на воспроизводство образов героев и закрепление их присутствия в публичном пространстве, что обеспечивало устойчивость идеологического пространства государства и способствовало формированию новой модели коллективной памяти. Полученные результаты подтверждают, что советская танатологическая парадигма сочетала рационалистические и мифологические элементы, создавая уникальный способ культурного преодоления смертности.

Литература

1. Малышева, С. Ю. Красный Танатос: некроримовизм советской культуры / С. Ю. Малышева // Археология русской смерти. – 2016. – № 2. – С. 22–47.
2. Еремеева, С. А. «В вихре великом не сгинут бесследно»: новая смерть для борцов за новую жизнь / С. А. Еремеева // Вестник Омского университета. Серия: Исторические науки. – 2014. – № 4 (4). – С. 23–34.
3. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр; пер. с фр. С. Н. Зенкина. – 3-е изд. – М.: Добросвет, КДУ, 2009. – 389 с.
4. Hagemester, M. Russian Cosmism in the 1920s and Today / M. Hagemester // The Occult in Russian and Soviet Culture; ed. B. G. Rosenthal. – New York; Oxford: Oxford University Press, 1997. – P. 199–219.
5. Merridale, C. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth Century Russia / C. Merridale. – London: Viking (Penguin), 2001. – 402 p.
6. Гюнтер, Х. Архетипы советской культуры / Х. Гюнтер // Соцреалистический канон: сборник статей; под ред. Х. Гюнтера, Е. Добренко. – СПб.: Академический проект, 2000. – С. 743–784.
7. Тяжельникова, В. С. Самоубийства коммунистов в 1920-е годы / В. С. Тяжельникова // Отечественная история. – 1998. – № 6. – С. 158–173.
8. Юровский, В. Структура и стиль советского политического некролога 30-х–80-х годов / В. Юровский // Der Tod in der Propaganda: Sowjetunion und Volksrepublik Polen; под ред. D. Weiss. – Bern: Peter Lang, 2000. – S. 127–190.
9. Грицков, Ю. В. Проблема совершенства и бессмертия в философии русского космизма / Ю. В. Грицков, Т. А. Феньвеш, Е. Ю. Забелина // Философия и культура. – 2018. – № 3. – С. 34–41.
10. Агиенко, А. Ф. Поэтика. Биокосмизм. (А)теология / Святогор; сост., подгот. текста и примеч. Е. Кучинова. – М.: Common place, 2017. – 278 с.
11. Фандо, Р. А. В поисках эликсира вечной молодости: советская рецепция открытий фран-

цусских ученых / Р. А. Фандо // Историко-биологические исследования. – 2023. – Т. 15, № 4. – С. 83–95.

12. Лука (Войно-Ясенецкий, В. Ф.). Я полюбил страдание : автобиография / святитель Лука Крымский. – М. : Сибирская Благовонница, 2020. – 155 с.

13. Маяковский, В. В. Владимир Ильич Ленин : поэма / В. В. Маяковский. – Л. ; М. : Госиздат, 1925. – 95 с.

14. Правда : газета. Политические некрологи лидеров и активистов. – URL: <https://marxism-leninism.info/paper/pravda-1> (дата обращения: 31.10.2025).

15. Известия : газета. Репортажи с похорон В. И. Ленина и материалы о «красных похоронах» 1920-х гг. – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 31.10.2025).

16. Троцкий, Л. Д. Вопросы быта: эпоха культурничества и ее задачи / Л. Д. Троцкий. – М. : Красная Новь, 1923. – 161 с.

17. Новые коммунистические похороны // Смена. – 1923. – 22 апреля. – С. 2.

18. Соколова, А. Д. «Смерть отброшенная»: десемантизация смерти и новое понимание человека в раннем СССР / А. Д. Соколова // Вестник археологии, антропологии и этнографии. – 2022. – № 1 (56). – С. 235–243.

19. Бартель, Г. Кремация / Г. Бартель ; под ред. Ф. Я. Лаврова. – М. : М. К. Х., 1925. – 95 с.

20. Чуковский, К. И. Дневник. 1901–1921 / К. И. Чуковский. – М. : АСТ, 2018. – 653 с.

21. Маллори, Д. Огненные похороны / Д. Маллори // Огонек. – 1927. – 11 дек. – № 50. – С. 18.

22. Вместо венка на могилу павших : сборник, посвященный памяти павших на защите подступов Красного Петрограда от белых банд 18 октября – 5 ноября 1919 г. – Шлиссельбург : Коллектив Рос. ком. партии (б.), 1922. – 57 с.

23. Багрицкий, Э. Г. Смерть пионерки: поэма / Э. Г. Багрицкий. – М. : Мол. гвардия, 1961. – 28 с.

24. Платонов, А. Бессмертие / А. Платонов // Собрание сочинений : в 3 т. Т. 2 : Рассказы. – М. : Вагриус, 2000. – С. 150–167.

25. Безбожник : ежемес. журн. Центр. и Моск. обл. советов Союза воинствующих безбожников. – 1923. – № 3. – М. : Гос. антирелигиозное изд-во, 1923. – 32 с.

26. Щеткова, Т. Ю. Образы восприятия и «исполнения» смерти в русской культуре советского периода / Т. Ю. Щеткова // Человек и общество в нестабильном мире : материалы региональной научно-практической конференции. – Омск : Омская юридическая академия, 2016. – С. 112–116.

27. Лебина, Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии: от военного коммунизма к большому стилю / Н. Б. Лебина. – 3-е изд. – М. : Новое литературное обозрение, 2018. – 482 с.

Грицай Людмила Александровна – доктор педагогических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории педагогики, Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского (Ярославль), e-mail: usan82@gmail.com. ORCID 0000-0002-3156-4074

Поступила в редакцию 7 декабря 2025 г.

DOI: 10.14529/ssh260302

TRANSFORMING IDEAS ABOUT DEATH AND IMMORTALITY IN THE SOVIET CULTURE OF THE 1920s AND 1930s: SYMBOLIC MODELS, RITUAL FORMS, AND PRACTICES OF COLLECTIVE MEMORY

L. A. Gritsai

Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Yaroslavl, Russian Federation

The article examines the diversified transformation of ideas about death and immortality in Soviet culture during the 1920s and 1930s associated with the emergence of new symbolic models, secular rituals, and sustainable practices of collective memory. These developments arose at the intersection of ideological atheism, non-ecclesiastical ideas about human nature, positivist orientations, and mythopoeic structures in mass consciousness. The analysis of scholarly papers on obituary discourse, memorial policy, and mechanisms of sacralization of revolutionary victims reveals key elements of the Soviet thanatological paradigm. This paradigm interpreted death as a socially significant act that offers the possibility of symbolic immortality through inclusion in the pantheon of heroes and public display of their images. The focus was made on the relationship between political ritualism, visual representations, and institutional norms,

which formed normative models of experiencing mortality. The obtained results allow clarifying the cultural and anthropological foundations of the Soviet immortality project and show that the early Soviet culture organized the interaction between the living and the dead as part of the historical movement towards a utopian future. The generalization of the presented data forms a basis for further research into the mechanisms of death transformation in the context of ideologically-oriented cultural systems.

Keywords: death, immortality, Soviet culture, thanatology, ritual, memory.

References

1. Malysheva S.Y. Krasnyj Tanatos: nekrosimvolizm sovetsoj kul'tury [Red Thanatos: Necro-Symbolism of Soviet Culture] // *Arkheologiya russkoj smerti*. 2016. № 2. P. 22–47.
2. Eremeeva S.A. “V vikhre velikom ne sginut bessledno”: novaya smert' dlya borcov za novuyu zhizn' [“Not to Perish in the Great Whirlwind”: A New Death for Fighters for a New Life] // *Vestnik Omskogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki*. 2014. № 4 (4). P. 23–34.
3. Bodriyar Zh. Simvolicheskij obmen i smert' [Symbolic Exchange and Death] / per. s fr. S.N. Zenkina. 3-e izd. Moscow: Dobrosvet, KDU, 2009. 389 p.
4. Hagemeister M. Russian Cosmism in the 1920s and Today // *The Occult in Russian and Soviet Culture*; Rosenthal B.G. (ed.). New York; Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 199–219.
5. Merridale C. Night of Stone: Death and Memory in Twentieth Century Russia. London: Viking (Penguin), 2001. 402 p.
6. Gyunter Kh. Arkhetipy sovetsoj kul'tury [Archetypes of Soviet Culture] // *Sotsrealisticheskii kanon: sbornik statej; pod red. Kh. Gyuntera, E. Dobrenko*. Saint Petersburg: Academic project, 2000. Pp. 743–784.
7. Tyazhel'nikova V.S. Samoubiistva kommunistov v 1920-e gody [Suicides of Communists in the 1920s] // *Otechestvennaya istoriya*. 1998. № 6. P. 158–173.
8. Yurovskii V. Struktura i stil' sovetsoj politicheskogo nekrologa 30-kh – 80-kh godov [Structure and Style of the Soviet Political Obituary of the 1930s–1980s] // *Der Tod in der Propaganda: Sowjetunion und Volksrepublik Polen*; ed. D. Weiss. Bern: Peter Lang, 2000. P. 127–190.
9. Gritskov Y.V., Fen'vesh T.A., Zabelina E.Y. Problema sovershenstva i bessmertiya v filosofii russkogo kosmizma [The Problem of Perfection and Immortality in the Philosophy of Russian Cosmism] // *Filosofiya i kul'tura*. 2018. № 3. P. 34–41.
10. Agienko A.F. Poetika. Biokosmizm. (A)teologiya [Poetics. Biocosmism. (A)Theology] / Svyatogor; comp., ed. by E. Kuchinov. Moscow: Common place, 2017. 278 p.
11. Fando R.A. V poiskakh eliksira vечноj mladosti: sovetsskaja retseptsiya otkrytii frantsuzskikh uchenykh [In Search of the Elixir of Eternal Youth: Soviet Reception of Discoveries by French Scientists] // *Istoriko-biologicheskie issledovaniya*. 2023. Vol. 15. № 4. P. 83–95.
12. Luka (Vojno-Yasenetskii V.F.). Ya polyubil stradanie [I Loved Suffering]: avtobiografiya. Moscow: Siberian Blagozvonitsa, 2020. 155 p.
13. Mayakovskii V.V. Vladimir Il'ich Lenin [Vladimir Ilyich Lenin]: poema. Leningrad; Moscow: State Publishing House, 1925. 95 p.
14. Pravda. Politicheskie nekrologi liderov i aktivistov [Political Obituaries of Leaders and Activists]. URL: <https://marxism-leninism.info/paper/pravda-1> (date of accessed: 31.10.2025).
15. Izvestiya. Reportazhi s pokhoron V.I. Lenina i materialy o “krasnykh pokhoronakh” 1920-kh gg. [Reports on Lenin's Funeral and Materials on “Red Funerals” of the 1920s]. URL: <https://rusneb.ru/> (date of accessed: 31.10.2025).
16. Trotskii L.D. Voprosy byta: epokha kul'turnichestva i ee zadachi [Questions of Everyday Life: The Era of Culturalism and Its Tasks]. Moscow: Krasnaya Nov', 1923. 161 p.
17. Novye kommunisticheskie pokhorony [New Communist Funerals] // *Smena*. 1923. 22 aprelya. P. 2.
18. Sokolova A.D. “Smert' otbroshennaya”: desemantizatsiya smerti i novoe ponimanie cheloveka v ran-nem SSSR [“Discarded Death”: Desemantization of Death and New Understanding of the Human in the Early USSR] // *Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii*. 2022. № 1 (56). P. 235–243.
19. Bartel' G. Krematsiya [Cremation] / pod red. F.Y. Lavrova. Moscow: M.Kh., 1925. 95 p.
20. Chukovskij K.I. Dnevnik. 1901–1921 [Diary. 1901–1921]. Moscow: AST, 2018. 653 p.
21. Mallori D. Ognennye pokhorony [Fiery Funerals] // *Ogonek*. 1927. № 50. 11 dekabrya. P. 18.
22. Vmesto venka na mogilu pavshikh [Instead of a Wreath on the Grave of the Fallen]. Shlissel'burg: The staff of the Russian Communist Party (b.), 1922. 57 p.
23. Bagritskii E.G. Smert' pionerki [The Death of a Pioneer Girl]: poema. Moscow: The Young Guard, 1961. 28 p.
24. Platonov A. Bessmertie [Immortality] // *Sobranie sochinenii*. Vol. 2. Moscow: Vagrius, 2000. P. 150–167.

25. Bezbozhnik. Ezhemesyachnyi zhurnal Soyuza voinstvuyushchikh bezbozhnikov [The Godless: Monthly Journal of the Union of Militant Atheists]. 1923. № 3. Moscow: State Anti-religious Publishing House, 1923. 32 p.

26. Shchetkova T.Y. Obrazy vospriyatiya i "ispolneniya" smerti v russkoi kul'ture sovetskogo perioda [Images of the Perception and "Performance" of Death in Soviet Russian Culture] // *Chelovek i obshchestvo v nestabil'nom mire*. Omsk: Omsk Law Academy, 2016. P. 112–116.

27. Leбина N.B. Sovetskaya povsednevnost': normy i anomalii: ot voennogo kommunizma k bol'shому stil'yu [Soviet Everyday Life: Norms and Anomalies: From War Communism to the Great Style]. 3-e izd. Moscow: New Literature Review, 2018. 482 p.

Lyudmila A. Gritsai – D. Sc. (Pedagogy), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory and History of Pedagogy, Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky (Yaroslavl), e-mail: usan82@gmail.com

Received December 7, 2025

ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ

Грицай, Л. А. Трансформация представлений о смерти и бессмертии в советской культуре 1920–1930-х гг.: символические модели, ритуальные формы и практики коллективной памяти / Л. А. Грицай // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2026. – Т. 26, № 3. – С. 17–26. DOI: 10.14529/ssh260302

FOR CITATION

Gritsai L. A. Transforming ideas about death and immortality in the Soviet culture of the 1920s and 1930s: symbolic models, ritual forms, and practices of collective memory. *Bulletin of the South Ural State University. Ser. Social Sciences and the Humanities*, 2026, vol. 26, no. 3, pp. 17–26. (in Russ.). DOI: 10.14529/ssh260302
